

четет эти или подобные им строки. Для него это некий мистический туман, от которого он с досадой отвернется. И его не смущит, что вне этого тумана вообще никаких решений нету. Вопрос стоит так, — или, через покаяние и очищение безбожное человечество вернется в Отчий дом, и засияет эпоха подлинного христианского возрождения, и оно почувствует себя Богочеловечеством, или же на долгие века мы обречены власти зверя, человекобога, новой и страшной идолопоклоннической религии.

Третье не дано.

Монахиня Мария.

О сопротивлении при помощи силы

1. «НЕ УБИЙ»

«Природа хочет, чтобы сильный боролся против слабого и покорял его»...¹⁾ «Война улучшает расы, уничтожает слабых и укрепляет человеческий характер. Уничтожение всякой войны было бы равносильно гибели этого мира и водворению во вселенной мрачной неподвижности абсолютного Ничтожества»...²⁾

Цитаты эти приведены, что называется, «на выборку». Их можно было бы умножить сотнями других подобных цитат, в один голос повторяющих, что с точки зрения природной, натуралистической война и насилие являются фактами, не только общераспространенными и нормальными, но даже и положительными; поэтому уничтожения войны могут желать только наивные идеалисты, которые, как говорит один из современных защитников

1) Ср. G. Lavisse et Ch. Andler, *Pratique et doctrine allemandes de la guerre*, 1915.

2) Mabille, *La guerre, ses lois, son influence civilisatrice, sa perpétuité*, 1884, p. 287.

войны, «основывают свои суждения на сентиментальных впечатлениях, полученных от вида разрушенных городов и от тяжести человеческих страданий». «Как будто бы наиболее простая из наших обязанностей сводится к тому, чтобы бежать от страданий». «Людям этим совершенно чужда мужественная решимость пожертвовать такой преходящей ценностью, как человеческая жизнь и человеческая собственность, для того, чтобы реализовать величие народа и исповедуемых им идей»...³⁾

Такова мораль насилия и войны, мораль распространенная и древняя. Но вопреки ей и тоже со временем незапамятной старины человек произнес сакральные слова: «не убий», «не противься злу насилием». Слова удивительные, так как в них содержится недвусмысленное отрижение закона природы, который есть закон борьбы, насилия и убийства. Как же мы должны истолковать смысл этих слов, в которых формулированы едва ли не самые основные истины человеческой морали?

В них можно усматривать, прежде всего, биологически понятное, но с различных человеческих точек зрения весьма оспоримое требование перейти из разряда животных плотоядных (или по крайней мере всевядных) в разряд животных травоядных. Вегетарианцы, как известно, утверждают, что в своем первобытнейшем состоянии человек питался плодами растений, а не проливал крови. Животная жизнь не сплошь кровожадна, кровожадны только хищники. По существу своему жизнь только паразитична, т.-е. создана на использовании окружающей среды: растительный мир непосредственно усвояет и использует свойства почвы и воздуха, животный мир использует то, что дает ему мир растительный (кислород и белковые вещества и т. п.). Но это вовсе не закон, чтобы животные пили кровь и ели плоть других животных. В плотоядности и кровожадности можно видеть

³⁾ E. Jünger, *Le Boqueteau*, 1932; Его же, *La guerre notre mère*, 1934, traduction française.

скорее какое то искажение твари, какую то «падшество» ее, чем закон жизни.

Можно признать правильность всех этих рассуждений, и в тоже время протестовать против превращения человека в овцу. Стремясь к такому превращению, мы обрекаем людей на истребление — и не только хищниками, но и животными самыми низшими, бактериями, микробами, разными насекомыми. Излишний ригоризм в вопросе об убийстве основан на странной непоследовательности и на лицемерии. Проповедник вегетарианства очень часто без всякого колебания убивает комара — как будто бы, при широком толковании, это не есть «убийство». Обличитель человеческой плотоядности и жестокости часто бывает любителем кровавых бифштексов и жареных цыплят. Человеку нужно стать менее гипокритичным и открыто признать, что без «убийства» животных жизнь его становится немыслимой и что он имеет право на это убийство. Это есть право его на защиту против существ низших — право, которое может быть основано не только биологически, но и религиозно. Религия ставит человека выше других существ, ставит его в особое отношение к существу высочайшему. И уже во имя этого превращение в овцу не соответствует человеческому достоинству.

Заповедь «не убий» можно истолковывать, как порождение чисто естественной солидарности, связующей между собою существа одной и той же зоологической породы, которая принадлежит к тому же к породе животных социальных. О солидарности этой не мало в свое время писали и говорили — и в частности в русской литературе (Северцев, Кесслер, Кропоткин). В ней усматривали источник всей человеческой морали и даже заповеди христианской любви. Забывают только, что чисто животная солидарность действительно является чувством чисто родовым и потому не может притязать на ту всеобщность, с которой выступает требование, и христианской любви, и даже буддийской жалости. Образцы солидарности муравьев одной кучи или ос одного улья

— могут быть совершенно удивительными, однако это есть моральный инстинкт, никогда не выходящий за пределы одного животного общества. Животные и насекомые бывают предельно жертвенны ко всему своему и в тоже время предельно эгоистичны и жестоки по отношению ко всему чужому. Черту эту мы наблюдаем и у человека, но она никак не соответствует вершинам его морального сознания. Самое ужасное в современных тоталитарных режимах и в их зверином национализме и расизме — это их бессознательное подражание морали ос и муравьев. В современных человеческих муравейниках проглядывает какой то звериный облик, — и потому то война и убийство становятся в них законом жизни. Невольно встает вопрос, не присутствует ли мы здесь при рождении каких то глубоких атавизмов, бессознательно господствующих над человеческой душой и влекущих человека, под маской высоких социальных идеалов, к возвращению к чисто звериной жизни.

Животная мораль не поднимается и не может подняться до требования универсального милосердия, которое родилось впервые в душе человека. И, чтобы ни говорили, в этом требовании содержится нечто, что свидетельствует о человеке, как существе, поднявшемся (другой вопрос, какими силами) над физической природой и над законами физической жизни. Человек есть не только существо разумное и существо, делающее орудия, как это говорят известные определения — человек есть еще и существо метафизическое.⁴⁾ Человек перерос витальную сторону своего существования, что приводит его к конфликту с самим собою и делает его существование крайне антиномичным. Норма «не убий» есть одна из лучших иллюстраций и это метафизичности, и этой антиномичности человека. Она может быть обоснована только религиозно или метафизически: как повеление Божие или как результат размышлений о сверхприродной, духовной

⁴⁾ Подробнее тезис о «метафизической» природе человека развивается в подготовленной мною к печати книге «Мир и человек».

сущности человека. Кто отвергает и то и другое, тот подтасчивает самые корни этой заповеди и разрушает ее значимость. Это в особенности остро и проникновенно чувствовал Достоевский, сделавший из нее основную тезу некоторых известных своих произведений. Ему в особенности было свойственно вполне оправдавшееся предчувствие, что секуляризованный, чисто позитивистический гуманизм очень легко может стать жестоким, кончить оправданием человокоубийства и широкой его практикой — в прекрасных целях будущего человеческого благополучия и счастья.

2. ДВА УРОВНЯ МОРАЛИ

Что человек не остался глух и нем по отношению к заповедям, запрещающим насилие и убийство — в этом убеждают условия жизни так называемых цивилизованных человеческих обществ. Каждому из нас вовсе уже не так часто приходится сталкиваться с насилием и убийством, если взять наши чисто личные отношения с людьми. Большинство окружающих нас людей — не убийцы и не часто подвергались опасности быть убитыми, за исключением, конечно, случаев подобного рода во время войн и революций, но об этом последнем будет речь особо. Личные отношения, доходящие до применения физической силы, или случаи обороны путем силы — тоже не часты. Нападения грабителей и разбойников, дуэли и просто драки не входят в жизнь цивилизованного человека, как факты обычные и повседневные. Порывшись в памяти, каждый из нас должен возвратиться разве только ко временам своего ребячества, когда отношения, основанные на силе, своеобразное кулачное право, играет роль большую, чем у взрослых — да и это относится только к мужской части человеческого рода. Одним словом, нашу личную жизнь мы построили по законам, исключающим насилие и убийство, что имеет свои корни не только в морали, но и в социальных установлениях, в праве, запрещающем насилие, в государстве, карающем за него.

Картина эта резко меняется, как только мы перейдем к отношениям человеческих коллективов к отдельному человеку или, еще лучше, к другим человеческим коллективам. Совсем не по правилам личной морали относится одна человеческая раса к другой, один класс к другому, одно государство к своему соседу. Тот, кто пережил русскую революцию, отлично знает, что в классовой борьбе законом является не милосердие, а ненависть и что насилия и убийства являются рекомендованными и одобряемыми методами этой области социальных отношений. Люди, вполне цивилизованные, именующие себя «гуманистами» (правда в особом смысле этого слова) сочили здесь теории, вполне научообразные и спокойно рекомендующие проявлять к классовому врагу максимум беспощадности, даже, по возможности, его истреблять, как вредное насекомое. Всем известно, что в других цивилизованных странах, преодолевших у себя социальную революцию, была изобретена теория, которая на место классового врага поставила врага «расового» — и по началам этой теории люди начали не только насиливать, но и прямо истреблять врага расового. Это называли «национальной революцией», пришедшей на смену революции социальной. Не стоит уже говорить, что закон насилия и убийства всецело царствует в отношениях интернациональных и международных. Здесь большие рыбы действительно пожирают малых — и это считается довольно нормальным. Все попытки заменить здесь закон насилия и войны законом, если не любви и милосердия, то по крайней мере упорядоченной системой, отрицающей прямое самоуправство, пока что не привели ни к каким результатам.

Как объяснить то странное явление, что коллективный и массовый человек живет на ином, низшем уровне морали, чем человек индивидуальный? При ответе на этот вопрос нужно принять прежде всего во внимание выводы современной коллективной и массовой психологии, которая учит, что массовый человек приобретает некоторые черты человека первобытного, он дикает, в нем пробуж-

даются первобытные инстинкты и атавизмы. К заключениям этим уже сравнительно давно пришел Ле Бон и ныне они подтверждены всецело Фрейдом.⁵⁾ Нужно учесть также особую роль «идеологий», владеющих массами. «Идеологии» эти чрезвычайно усложняют простые, чисто личные отношения между людьми. Под влиянием «идеологий» вместо живых людей начинают выступать некоторые социальные «категории» — «белый», «красный», «коммунист», «германец» и т. п. За безличными социальными масками и категориями, за установленными общественными номенклатурами и названиями теряется непосредственное ощущение живой человеческой личности. Несказанный ужас классовой борьбы или войны в том, что отдельного человека здесь уже не видно. Человек здесь лично по большей части не знает своего врага и менее всего считается с его личными качествами, не питает к нему личных чувств. Человек здесь имеет дело с «категорией». «Личности капиталиста и крупного земельного собственника», говорит Маркс в предисловии к первому тому своего «Капитала», изображены мною далеко не в розовом свете; но я говорю об отдельных лицах только постолько, поскольку они являются олицетворением некоторых экономических категорий и представляют известные классовые отношения и интересы». Вот этот прием играет выдающуюся роль в тех оценках, которые руководят массами в их социальной и классовой борьбе. «Буржуай» стал по существу отрицательной категорией и воплощением зла. Пролетарий — некоторым сусальным типом воплощенного совершенства. Люди творят коллективное насилие, не мало не соображаясь с личными качествами своих «классовых врагов», а имея ввиду только «категорию».

Нечто подобное наблюдаем мы и в массовых отношениях в сфере международной и международной. Ходящий национализм изображает обычно чужой народ, в особенности враждебный, как носителя всех отри-

⁵⁾ S. Freud, Massenpsychologie und Ichanalyse.

цательных качеств, тогда как свое государство становится олицетворением всего хорошего и доброго. Существует особый психологический комплекс «нации-злодея» и «нации-добродетельницы» — комплекс, сыгравший огромную роль, например, в эпоху великой войны. Та особая чисто человеконенавистническая литература, которая появилась в течение этой войны, в особенности в Германии (но и в других странах тоже) заслуживает особого изучения с точки зрения коллективной психологии и психопатологии. Она свидетельствует о некоторой настоящей «одержимости» отдельных наций навязчивыми идеями, ослепившими душу культурного человека и наполнившими мир ненавистью и злобой. Один новейший американский автор, Джон Фостер Деллес, справедливо видит в названных явлениях какое то «наваждение» человеческих душ особыми «фантасмами», фиктивными идеями, призраками.⁶⁾ Нормальные человеческие черты исчезают за этими масками, под покровом которых человек начинает особо драматизировать события, преувеличивать конфликты и доводить себя до высшей степени раздражения.

В подобной атмосфере и проходят войны и революции. Это опять таки с особым проникновением чувствовал Достоевский, изображавший революционную психологию, как патологию коллективной одержимости, своеобразного бесовского демонизма. Отдаваясь ему, человеческая душа теряет смысл элементарные черты обыденной морали и становится готовой ко всякому преступлению. Родится особый уровень «коллективной морали», которая с точки зрения человеческих отношений оправдывает все то, что с точки зрения личных отношений, клеймится, как преступление.

3. О ПАССИВНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ

Отдельный человек бессилен перед массой и тем более массой организованной. Он может бороться с массой,

⁶⁾ J. F. Dulles, War, Peace and Change, 1938.

противопоставив ей другую массовую организацию. Но как бороться? Если это — борьба насилием, то мы приходим к идее войны в ее широком понимании — к войне международной или войне гражданской. Значит ли это, что пока отношения между человеческими массами основаны на морали низшей, на морали в значительной степени звериной, — для масс нет другого исхода, как драться и воевать? Или же возможна невооруженная массовая борьба, которая имеет свою особую тактику, свою стратегию, свои методы?

Главное отличие современного апостола индуизма, Ганди, от его признанного учителя, Толстого (значение которого сам Ганди всегда подчеркивал)⁷⁾ — в том, что гандизм сделал непротивленчество активным, превратил его в некоторое массовое действие. Из непротивления родилось таким образом массовое сопротивление, упорное, действенное, однако, не прибегающее к физическому насилию, не похожее поэтому на классовую борьбу или на международную войну. Ганди удалось это сделать в силу того, что им были использованы и мобилизованы две силы, играющие огромную роль в современном мире: это — национализм и известные «классовые», вернее, кастовые эмоции и чувства. Гандизм есть организация низшей индусской касты, париев, стремящаяся, с одной стороны, разрушить кастовые перегородки и добиться общечеловеческого равенства, с другой стороны, преследующая индусские национальные цели в борьбе с английским владычеством в Индии. Последователи Ганди не прибегают ни к оружию, ни к бомбам, ни к другим методам обычной революционной борьбы. Индусской «swa deshi» (swa — сам по себе, deshi — то, что сделано в самой стране) борется с английским влиянием и господством, отграживаясь от всего английского, бойкотируя англичан везде, где можно, противясь всякому сотрудничеству с ними. Гандизм борется за национальные права индусов и

⁷⁾ Об отношении Толстого к Ганди, см. книгу **M. Markovitch, Tolstoï et Gandhi, 1928.**

личные права париев, не разжигая ненависти, не стремясь к захвату власти, к диктатуре низших общественных слоев, не призывая к вооруженному восстанию, не строя баррикад, не проклиная привеллигированных и властующих, не зовя угнетенных к истреблению угнетателей. Гандизм есть в этом отношении — полная противоположность большевизму. Ганди и Ленин — это два типа совершенно различных по стилю своему революционеров.⁸⁾ И от Толстого Ганди отличает поражающая терпимость к своим социальным врагам и противникам, о которых наш великий писатель судил не всегда слишком мягко.

Не правильно было бы преумножать значение этой тактики пассивного сопротивления, так как результаты, добытые ею в Индии — неоспоримы. Общепринятость этой тактики в определенных конкретных условиях иллюстрируется положением всщей, создавшемся в покоренной немцами Чехо-Словакии. По какой то иронии судьбы чешскому народу, который по общему своему умонастроению является народом, наименее подверженным влиянием Востока и весьма европеизированным, суждено было испробовать эту тактику в борьбе с германским завоевателем, — поступить буквально по заветам Толстого и Ганди: сложить оружие, добровольно покориться агрессору и начать применять по отношению к немцам чисто индусские приемы.⁹⁾ Мы не знаем, какие еще будут результаты этого опыта, которые не могут не приветствовать все непротивленцы, но другой вопрос, можно ли эту тактику обобщить и принять как норму, значимую для всех других европейских наций.

Что тактика пассивного сопротивления даже тогда, когда она проводится чисто стихийно и не организованно, может быть весьма актуальным средством массовой борьбы с насилием, — в этом могут убедить нас и некоторые

8) R. Fülop-Miller, *Lenin and Gandhi*.

9) Толстой рекомендовал эту тактику во время аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. Ср. «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии», 2-ое издание, Берлин, Штейниц, 1909.

другие примеры. Различные отступления от коммунистического опыта, которые принуждены были сделать большевики, разве не об'ясняются очень часто стихийным массовым сопротивлением населения? И разве не разбиваются слишком энергичные военные планы современных диктаторов о пассивное сопротивление народных масс, которые не хотят войны нигде — ни в странах демократических, ни в странах диктаториальных.

Черная опыт из массовой жизни современных народов, а не только из чисто личных отношений, мы можем сказать, что те возражения, которые Владимир Соловьев противопоставил в своей известной полемике Толстому, правильны только очень относительно. Нельзя тактику непротивления (или, вернее, пассивного сопротивления) доводить до абсурда при помощи примеров, взятых из чисто личных отношений между людьми. Когда перед нами злодей, заносящий нож на младенца (пример, которым пользуется Соловьев, чтобы опровергнуть Толстого), нам остается только одно: обезоружить и связать злодея. Начать уговаривать его было бы безумным. Но когда мы стоим лицом к лицу с многоголовым зверем, спрашивается, как можно его связать и обезоружить? С одержимым страстью и вооруженным коллективом, не может сопротивление дает в таких случаях духовную силу и крепость отдельной человеческой душе. Бирюков рассказывает, что в своей молодости в Казани, Толстой беседовал с буддийским ламой, который лежал на излечении в больнице. При путешествии через Сибирь лама подвергся нападению разбойников и на вопрос Толстого: «что же вы сделали, когда на Вас напали», ответил: «сложил руки на грудь и молился за разбойников». Вот пример истинно христианского поведения — замечает по этому поводу Толстой. Было бы большей близорукостью не видеть в таком образе действий некоторого подлинного духовно-

го величия. Но вправе ли человек абсолютировать такую тактику и утверждать, что она всегда и везде применима? Ошибка Толстого в том, что он не видел множественности путей, которые открываются перед человеком — множественности путей добра, вытекающих из невероятной сложности ситуаций, в которых человеческому приходится действовать. Непротивление или пассивное сопротивление есть только один из этих путей, а вовсе не единственный путь, доступный человеку во всех без исключения случаях его жизни.

4. О ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВЕ

Тактика пассивного сопротивления Ганди организует положительные эмоции людей — коллективные силы любви, а не ненависти, как это делает большевизм — в целях борьбы за определенные национальные и социальные интересы. Организация этих коллективных эмоций есть таким образом средство, а не самоцель. Когда вышеумянутые интересы получат удовлетворение, организация положительных эмоций теряет почву и должна исчезнуть. В гандизме нет стремления создать такой постоянный духовно-социальный организм, который бы организацию любви и милосердияставил своей основной и постоянной задачей. Таким учреждением является церковь, к которой отрицательно относился Толстой и отрицательно относится Ганди. Оба они — противники церкви, как института, оба они не ощущают той огромной организационной роли, которую может играть церковь в борьбе с насилием не только индивидуальным, но и коллективным.

По своему не теологическому, но только социологическому смыслу церковь есть общество, в которое люди входят по их мере в сверхприродное назначение человека, превосходящее все земное, даже самые высокие ценности, как нацию, отчество, расу, родовитость, богатство, земную честь и славу. Церковь в этом смысле — сверхприродна и сверхнациональна. Связующей связью

церковного общения является любовь к Богу и к своему ближнему. Церковь является об'единением того, что в человеке принадлежит Богу и что превосходит все мирские задачи и цели. Церковь не есть сообщество, построенное на вере в какую нибудь идеологию, так как она веру в Бога ставит выше веры в идеи и сознает всю относительность человеческих идеологий, которые люди превращают в нечто абсолютное. Церковь хочет возвысить человека не его земною гордостью, будь то гордость познания, но человеческим устремлением к Тому, кто не от мира сего. Нигде, ни в каком другом обществе, не может быть стольочно обосновано человеческое стремление к милосердию, заповедь человеческой любви, норма «не убий», закон, запрещающий насилие, как в церкви. Ни Толстой, ни Ганди не видят этого великого значения церкви в деле массовой организации положительных человеческих эмоций и чувств, в борьбе со злобой, ненавистью, завистью и себялюбием. Оба они, когда говорят о церкви, имеют в виду только исторически сложившиеся церковные установления, которые заслоняют для них самую церковную идею. Исторические церкви совершили не мало грехов и часто одобряли насилие, даже сами его творили. Это об'ясняется главным образом их союзом с государством, от которого к счастью сейчас церкви освобождаются и многие уже освободились. По идее своей церковь не есть принудительная организация и не может прибегать к принуждению и насилию. Церковный авторитет поконится на духовном признании и резко отличается от принудительного авторитета государства.

Толстой и Ганди в их отвержении церкви забывают, что помимо исторических церковных организаций, в той или иной степени связанных с государством и перенявшими от государства методы принуждения, существовала церковь первоначальная, апостольская, которую и нужно брать за образец, за выражение истинной церковной идеи. Церковная реформа, потребность в которой ныне ощущается многими христианами, должна вдохновляться не стремлением создать что то новое, но должна быть возвра-

щением к некоторому первообразу, действительно иска-
женному историей. И только через посредство подобным
образом обновленной или, вернее, возвратившейся к сво-
им древнейшим традициям церкви, возможна мобилиза-
ция тех положительных, добрых эмоций в массовом че-
ловеке, которые сейчас спят в душах именно потому, что
бодрствуют эмоции им противоположные.¹⁰⁾

Вторым недостатком воззрений Толстого и Ганди яв-
ляется их отрицание государства, их анархизм. Государ-
ство, в противоположность церкви, есть организация чи-
сто земная, мирская, имеющая дело с физическим, нату-
ральным существом человека. Без государства человек не
может жить, так как в человеческой природе живет зверь
и таятся загнанные вглубь души хаотические, разруши-
тельные силы. Государство — это земля, биология народ-
ного организма, материальные блага, необходимые для
жизни, хозяйство, производство, внешняя и внутренняя
физическая безопасность. Государство регулирует хаоти-
ческие силы, таящиеся в физической жизни масс, в игре
вitalных сил, в столкновении интересов, в борьбе лич-
ных и групповых эгоизмов. Глубоко наивна вера в то, что
когда индусы — а в это и верит Ганди, — освободятся от
английского владычества, они заживут спокойной и мир-
ной жизнью анархического рая. Есть опасность, что без
принудительной власти, охраняющей внешний, чисто ней-
тральный порядок, они перережут друг друга, изнемогут
от внутренней войны. Те, кто пережили раз революцию,
должны были бы понять, к чему ведет разрушение ста-
рого государственного аппарата тогда, когда еще новый
не создан: на место организованного государственного
принуждения ставится закон самозащиты и самоуправства,
каждый становится судьей в своем собственном деле и
должен защищать сам себя и своих близких собственной
силой. Это понял в эпоху английской революции англий-
ский философ Гоббс, изобразив безгосударственное,

10) Огромную подготовительную работу в этом направлении ве-
дет экуменическое движение. Ср. «The Churches survey theyr task»,
London, 1937.

«естественное» состояние, как «борьбу всех против всех». В мыслях Гоббса есть некоторая вечная правда, принуждающая нас оправдать государство, как организм централизованного принуждения, которое лучше, чем кулачное право, возникающее из частной самозащиты каждого своей собственной силой, собственным мечем или собственной винтовкой.

Государство борется с насилием прежде всего путем угрозы силой. Всякий, кто хочет в огосударствленном обществе разрешить конфликт применением собственной силы или самоуправством, становится под угрозу конфликта с государством. Несправедливо и пристрастно думать, что государство, только и делает, что насильничает и убивает — напротив, государство есть та нейтральная сила, которая ограждает от насилия — ограждает, может быть, не всегда по началам безупречной справедливости и равенства, но все же ограждает. Непонимание этих нейтральных функций государственной власти свойственно грубо классовой теории государства, которая, повидимому, изжила себя даже в советской России. Государство начинает убивать в процессе войны и революции. Нормальное государство может совсем обойтись без убийства, так как смертная казнь не есть неоспоримый и неотделимый от государственной практики институт.

Но государство не только аппарат, созданный для угрозы насилием и регулирующий материально-биологическую сторону человеческой жизни. В земную жизнь человека входят и моральные ценности, определяющие человеческое поведение в обществе. Человек не есть существо, живущее в своей социальной жизни только на основании бессознательных инстинктов, как муравьи и пчелы, человек живет в обществе, руководствуясь теми принципами, идеями, нормами и целями, которые в совокупности своей образуют это с данного народа, его коллективное сознание, объективное царство его национального духа. И от того, каков этот дух, зависит самая сущность государства. Он может быть духом убийства и насилия, но может быть духом симпатии,

с о л и д а р н о с т и и м и л о с е р д и я. Государство есть мощное орудие для организации известной коллективной психологии, для развития тех или иных задатков массового человека. Государство не должно только отождествлять себя с церковью и считать себя союзом совершенством. Государство всегда имеет дело с некоторым минимумом нравственности, который оно вводит в свою правовую систему, защищает и охраняет. И важно, чтобы государство не смотрело на себя, как на школу малолетних или еще хуже, как на исправительное заведение. Государство должно уважать личность в человеке и свободу его внутреннего самоопределения. Угрожая принуждением, оно должно в то же время воспитывать граждан в свободе. Только при помощи организованного государственного аппарата возможно провести широкую программу воспитания масс в духе свободы, права, солидарности и взаимной симпатии. К сожалению, до сих пор демократические государства менее всего ставили перед собою проблему социальной педагогики, воспитание же масс в тоталитарных режимах велось как раз в духе противоположном, в духе классовой или расовой вражды, ненависти и зависти.

Для борьбы с этим отрицательным этосом недостаточно пассивного сопротивления. Для этой борьбы необходима мобилизация мирных и благожелательных массовых эмоций, нужна продуманная система социального воспитания, — задачи, которые может организовать только союзы, построенные на авторитете и власти, другими словами, церковь и государство.

5. О СОПРОТИВЛЕНИИ ПРИ ПОМОЩИ СИЛЫ

Пока названный организационный и воспитательный план не выполнен, мир должен жить, по необходимости, в атмосфере войны и насилия. Обязаны ли мы при всех условиях поступать в этом мире так, как рекомендуют Толстой и Ганди, или же вправе, в известной ситуации, силе противопоставить силу?

Умение пользоваться силой отнюдь не предполагает открытого столкновения и кровопролития. Нужно понять, чего не понимают «непротивленцы»: чтобы избежать кровопролития, нужно в известных условиях уметь показывать силу. Правило это отнюдь не является нормой абсолютной, значимой во всякой ситуации и при всех жизненных условиях, но оно становится неизбежным в некоторых жизненных случаях и в той социальной атмосфере, в которой насилие становится правилом и постоянной угрозой.

Современная тактика сопротивления силе должна идти двумя путями — путем внутренне-государственным и путем международным. Что касается первого, то тем режимам, в основе которых лежит еще право и свобода, нужно кардинально изменить свою тактику по отношению ко всем домашним кандидатам в диктаторы и ко всем активным «тоталитаристам». Главный грех современных демократий состоит в том, что они показали полную неспособность себя защищать и без боя сдались своим противникам. Многие демократы думают, что такая беззащитность лежит в самом существе демократии: демократия, говорят они — всегда релятивистична, она всегда допускает критику противников, всегда является компромиссом противоположных мнений, — и, если в демократии существуют люди, стремящиеся к ее отмене и к введению тоталитарного режима, то искренний демократ должен считаться и с этим мнением и не посягать на свободу его выражения и его реализации. Иначе — демократия изменит самой себе и пойдет по пути фашизма.

Мы стоим здесь перед чрезвычайно антиномичной и парадоксальной проблемой, вытекающей из самой идеи свободы. Если мы посягнем на свободу тех, которые стремятся к гибели демократии, то тем самым мы вступим в конфликт с их свободой; но если мы предоставим их свободе развиваться в сторону отмены свободы вообще, то тем самым мы вступим в конфликт с свободой всех людей вообще. Так именно Временное Правительство не хотело посягать на «свободу» Ленина, что привело к отме-

не свободы вообще. Так республиканская Германия допустила свободное развитие национал-социализма, вождь которого открыто заявлял, что он уничтожит демократию, пользуясь ее же собственными методами. Ситуация, о которой идет сейчас речь, очень напоминает любую игру с партнерами, которые в игру допущены, но правила игры не соблюдают и стремятся откровенно добиться отмены этих правил. Можно ли в таких условиях играть в крикет, в шахматы, в лапту, во что угодно?... Более или менее ясно, что игра в этих условиях бессмысленна, однако же демократические сторонники свободы ее продолжают вести. Пользуясь правилами свободы, они принимают в игру людей, которые не только этих правил не признают, но и игру ведут в целях отмены этих правил. Уважение к свободе превращается здесь в некое особое «непротивленчество», которое менее обосновано и более пассивно, чем учения Толстого и Ганди. Эти последние укоренены в особом религиозном миросозерцании и, как мы видели, могут принять форму особой тактики сопротивления, не пользующейся принудительными средствами. Демократы-непротивленцы очень часто не принадлежат к числу людей религиозных, их «непротивленчество» имеет характер некоторого попустительства, которое тем более непоследовательно, что сами попустители по большей части не являются принципиальными противниками насилия и готовы применять его в других областях общественной жизни.

Современная демократия должна укрепить веру в абсолютную ценность тех принципов, которые она защищает, должна освободиться от своего релятивизма и своего непротивленства. Она должна научиться защищать свое дело, должна стать демократией авторитарной. Существует принципиальное отличие авторитарной демократии от тоталитарных государств — различие, которое, к сожалению, многие не понимают. В тоталитарном режиме государство берет у человека все и принципиально отрицает его свободу. Авторитерная демократия, напротив, по известному выражению Руссо, хочет принудить людей быть сво-

бодными.¹¹⁾ Принуждать же к свободе это значит, прежде всего, бороться с теми, которые стремятся к ее уничтожению; это значит, далее, ставить человека в такие условия общественной жизни, при которых он принужден бы был пользоваться своей автономией и существовать вне государственной опеки; это значит, наконец, организовать такую систему социального воспитания, которое развивало бы в человеке способность к свободной мотивации поведения, а не только к принудительному исполнению извне навязанных ему обязанностей.

Иначе обстоит дело в вопросе о применении силы в области международной. Здесь скорее нужно призывать к демобилизации накопленных социальных энергий, чем к их мобилизации; уже слишком здесь напряжены силы, слишком часто применяется насилие. Народы и государства должны понять, что при условиях современной тоталитарной войны применение насилия может быть губительным, и для нападающего, и для защищающегося, что результатом войны может быть всеобщая гибель культуры. Международная жизнь никогда еще не нуждалась в замене самоуправства каким-то организованным порядком так, как она нуждается в наши дни. И тем не менее война остается и ныне последним средством, к которому нельзя не прибегать, когда все остальные средства исчерпаны.

Войной называется совокупность актов нападения и защиты — тех актов, которые имеют совершенно различный ценностный смысл. Первый из них, нападение, не может быть никак оправдан в современных условиях войны тоталитарной. Ныне не может быть никакого справедливого нападения, справедливой может быть только защита против агрессора, предпринятая тогда, когда все остальные средства для улажения конфликта исчерпа-

¹¹⁾ Сам Руссо склонялся также к государственному тоталитаризму, что видно из его требования, чтобы человек в «общественном договоре» отказался от всех своих прав в пользу политического целого.

ны.¹²⁾ Обороняющаяся сторона должна проявить всю меру долготерпения и всю возможную уступчивость. В этом последнем открывается положительный смысл Мюнхенской политики, которая многих раздражала. Мюнхен обнаружил предельную добрую волю неагрессивных держав итти на уступки, даже путем жертв и не считаясь с самолюбием. И когда эти жертвы оказались бесцельными, стала ясной неизбежность последнего крайнего решения — итти на вооруженный конфликт.

Все аргументы «за» и «против» этого последнего решения имеют дело в конце концов с столкновением двух последних моральных ценностей: ценности отдельной человеческой жизни, с одной стороны, и ценности таких принципов, как «свобода», «духовность», «достойное человеческое существование», с другой. Должен ли человек пожертвовать своей жизнью во имя этих идей, или жизнь человека настолько ценнее, что следует пожертвовать этими идеями во имя ее сохранения? Тот, кто рекомендует первое решение есть принципиальный «противленец», сторонники второго — «непротивленцы» абсолютные. Теоретический спор между ними едва ли возможен и плодотворен, как всякий спор о последних путях человеческой жизни. Однако, можно привести некоторые соображения, показывающие, что абсолютное непротивленство не достигает тех целей, которые оно ставит и потому обнаруживает некоторое внутреннее противоречие.

На первый взгляд кажется, что, если действительно, в случае нападения внешнего завоевателя, подвергнувшаяся нападению сторона не будет обороняться и сложит оружие, то тем самым будет избегнуто кровопролитие, будут сохранены человеческие жизни, а агрессор попадет в неловкое моральное положение: ибо вести войну против несопротивляющегося врага — это значит произвести удар

¹²⁾ Термин «справедливая война» (*bellum justum*), популярный в средние века, двусмысленен потому, что допускает не только справедливую «оборону», но и справедливое «нападение».

впустую и быть в известном смысле обезоруженным. Сила этих соображений, однако, только кажущаяся, и они теряют убедительность при более внимательном рассмотрении. На самом деле отказ от сопротивления агрессору мог бы не повести к сопротивлению только в полной политической пустоте. Действительный, реальный агрессор есть живой человек, вернее, живая масса людей, которой владеют политические инстинкты и страсти. Совершая нападение на «вражеское» государство или на «вражеский» народ, агрессор всегда горит политической враждой, по отношению к своей жертве. Поэтому необходимыми атрибутами занятия чужой территории являются расправы с политическими противниками, аресты, концентрационные лагеря и даже убийства. Поэтому агрессия, вполне бескровная и не предполагающая человеческих жертв, существует только в фантазии непротивленцев. Реальная агрессия необходимо сопровождается жертвами и отнюдь не щадит человеческие жизни. Только эта жестокая сторона дела тщательно скрывается и замалчивается, что и создает внешнее впечатление спокойствия и благополучия, которые видимо отсутствуют в войне.

Можно сказать, что при отсутствии сопротивления жертв будет менее, чем при обороне. Но имеет ли в данных вопросах принципиальное значение количественная сторона дела? И может ли организованное общество, в лице государства, — общество, взявшее на себя известную, хотя бы молчаливую гарантию охраны жизни и свободы граждан, — отказаться от сопротивления и тем предать своих подданных? Государство не может не защищаться уже потому, что, будучи организацией, борящейся с самоуправством, оно встречается, в лице агрессора, с той самоуправной силой, борьба с которой, как мы видели, является одной из главных задач государства. Акт сопротивления лежит таким образом в природе государства и, не применяя его, государство изменяет самому себе, противоречит собственной природе. Освободить себя от необходимости сопротивляться государство могли бы только в случае *vis major*, в случае действитель-

ной невозможности вести какую-либо борьбу. В таком случае остается последний исход, о котором мы уже говорили — тактика пассивного сопротивления.¹³⁾

Н. Н. Алексеев.

Урок истории

Если задаться вопросом, каков исторический смысл победы, одержанной Германией в мировой войне двадцать лет спустя по ее формальном завершении, т.-е. какой свет эта победа проливает на ход европейской истории в новейшее время, в эпоху перманентной в сущности революции, борьбы за осуществление всего, что связано с «бессмертными принципами 1789 года», то ответ, думается, должен быть таков: победа Германии — новой Германии, переродившейся после Войны, — была в известном отношении реализацией идеалов, выдвинутых демократиями, и которых сами демократии не осуществили. Идеи личной свободы и личного равенства дали начало идеи самоопределения народов. Каждый народ имеет право осуществить свое единство, имеет право на свою землю, свою государственную власть, и т. д. Но что такое народ? Когда державы-победительницы «устраивали» Европу и организовывали Лигу народов, они обошли этот вопрос, или, вернее, при определении, что такое народ или нация, руководствовались в различных случаях различными критериями — в зависимости от «реально-политических» (что, впрочем, разумеется, замалчи-

13) Хотя статья эта и не стоит на строго конфессиональной почве, однако по интенциям своим она хочет показать, как нужно смотреть на войну с точки зрения православной. В этом смысле статью эту можно считать ответом на ту протестантскую теорию войны, которая популярна в некоторых (правда, не всех) германских кругах. Ср. статью Prof. Althaus'a и в сборнике «Kirche, Volk und Staat», Berlin, 1937.